

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ (ФЕВРАЛЬ 1876)

ПО ПОВОДУ ДЕЛА КРОНЕБЕРГА

Я думаю, все знают о деле Кронеберга, производившемся с месяц назад в с.-петербургском окружном суде, и все читали отчеты и суждения в газетах. Дело слишком любопытное, и отчеты о нем были замечательно горячие. Опоздав месяц, я не буду поднимать его в подробности, но чувствую потребность сказать и мое слово по поводу. Я совсем не юрист, но тут столько оказалось фальши со всех сторон, что она и не юристу очевидна. Подобные дела выпрыгивают как-то нечаянно и только смущают общество и, кажется, даже судей.

Напомню дело: отец высек ребенка, семилетнюю дочь, слишком жестоко; по обвинению - обходился с нею жестоко и прежде, Одна посторонняя женщина, из простого звания, не стерпела криков истязаемой девочки, четверть часа (по обвинению) кричавшей под розгами: "Папа! Папа!" Розги же, по свидетельству одного эксперта, оказались не розгами, а "шпицрутенами", то есть невозможными для семилетнего возраста. Впрочем, они лежали на суде в числе вещественных доказательств, и их все могли видеть, даже сам г-н Спасович.

Я был в негодовании на суд, на присяжных, на адвоката. Теперь этому делу уже три недели, и я во многом переменил мнение, прочтя сам отчеты газет и выслушав несколько веских посторонних суждений. Я очень рад, что судившегося отца могу уже не принимать за злодея, за любителя детских мучений (такие типы бывают), и что тут всего только "нервы", и что он только "худой педагог", по выражению его же защитника.

В чем же фальшь? Во-первых, вот девочка, ребенок; ее "мучили, истязали", и судьи хотят ее защитить, - и вот какое бы уж, кажется, святое дело, но что ж выходит: ведь чуть не сделали ее навеки несчастною; даже, может быть, уж сделали! В самом деле, что если б отца осудили? Дело было поставлено обвинением так, что в случае обвинительного приговора присяжных отец мог быть сослан в Сибирь. Спрашивается, что осталось бы у этой дочери, теперь ничего не смыслящего ребенка, потом в душе, на всю жизнь, и даже в случае, если б она была потом всю жизнь богатою, "счастливою"? Не разрушено ли б было семейство самим судом, охраняющим, как известно, святыню семьи? Теперь возьмите еще черту: девочке семь лет, - каково впечатление в таких летах? Отца ее не сослали и оправдали, хорошо сделали (хотя аплодировать решению присяжных, по-моему, публике бы и не следовало, а аплодисмент, говорят, раздался); но всё же девочку притянули в суд, она фигурировала; она всё видела, всё слышала, сама отвечала за себя.

Защитником подсудимого был г-н Спасович; это талант. Где ни заговорят о г-не Спасовиче, все, повсеместно, отзываются о нем: "Это талант". Я очень рад тому. Замечу, что г-н Спасович был назначен к защите судом и, стало быть, защищал, так сказать, вследствие некоторого понуждения...

... Впрочем, собственно об адвокатах лишь два слова. Только лишь взял перо и уж боюсь. Заранее краснею за наивность моих вопросов и предположений. Ведь слишком уж было бы наивно и невинно с моей стороны распространяться, например, о том, какое полезное и приятное учреждение адвокатура. Вот человек совершил преступление, а законов не знает; он готов сознаться, но является адвокат и доказывает ему, что он не только прав, но и свят. Он подводит ему законы, он подыскивает ему такое руководящее решение кассационного департамента сената, которое вдруг дает делу совсем иной вид, и кончает тем, что вытягивает из ямы несчастного. Преприятная вещь! Положим, тут могут поспорить и возразить, что это отчасти безнравственно. Но вот перед вами невинный, совсем уж невинный, простячок, а улики, однако, такие и прокурор их так сгруппировал, что совсем бы, кажется, погибать человеку за чужую вину. Человек притом темный, законов ни в зуб и только знает бормочет: "Знать не знаю, ведать не ведаю", - чем под конец раздражает и присяжных, и судей. Но является адвокат, съевший зубы на законах, подводит статью, подводит руководящее решение кассационного департамента сената, сбивает с толку прокурора, и вот - невинный оправдан. Нет, это полезно.

Клиент обвинялся в "истязании" - эта-то постановка и была страшна. Г-н Спасович прямо начал с того, что отверг всякую мысль об истязании. "Не было истязания, не было никакой обиды ребенку!" Он отрицает всё: шпицрутены, синяки, удары, кровь, честность свидетелей противной стороны, всё, всё - прием чрезвычайно смелый, так сказать, наскок на совесть присяжных; но г-н Спасович знает свои силы. Он отверг даже ребенка, младенчество его, он уничтожил и вырвал с корнем из сердец своих слушателей даже самую жалость к нему. Крики, "продолжавшиеся четверть часа под розгами" (да хотя бы и пять минут): "Папа! Папа!", - всё это исчезло, а на первом плане явилась "шустрая девочка, с розовым лицом, смеющаяся, хитрая, испорченная и с затаенными пороками". Слушатели почти забыли, что она семилетняя; г-н Спасович ловко конфисковал лета, как опаснейшую для себя вещь. Разрушив всё это, он естественно добился оправдательного приговора; но что же было ему и делать: "а ну, если присяжные обвинили бы его клиента?" Так что, само собою, ему уже нельзя было останавливаться перед средствами, белоручничать. "Всякие средства хороши, если ведут к прекрасной цели". Но рассмотрим эту замечательную речь в подробности, это слишком стоит того, вы увидите.

"Я боюсь, г-да присяжные заседатели, - говорит г-н Спасович, - не определения судебной палаты, не обвинения прокурора... я боюсь отвлеченной идеи, призрака, боюсь, что преступление, как оно озаглавлено, имеет своим предметом слабое беззащитное существо. Самое слово "истязание ребенка", во-первых, возбуждает чувство большого сострадания к ребенку, а во-вторых, чувство такого же сильного негодования к тому, кто был его мучителем".

"Я, г-да присяжные, не сторонник розги, - продолжает г-н Спасович. - Я вполне понимаю, что может быть проведена система воспитания (не беспокойтесь, это всё такие новые выражения и взяты целиком из разных педагогических рефератов), из которой розга будет исключена; тем не менее я

так же мало ожидаю совершенного и безусловного искоренения телесного наказания, как мало ожидаю, чтоб вы перестали в суде действовать за прекращением уголовных преступлений и нарушением той правды, которая должна существовать как в семье, так и в государстве".

Так всё дело, стало быть, идет всего только о розге, а не о пучке розог, не о "шпицрутенах". Вы вглядываетесь, вы слушаете, - нет, человек говорит серьезно, не шутит. Весь содом-то, стало быть, подняли из-за розочки в детском возрасте и о том: употреблять ее или не употреблять. Стоило из-за этого собираться. Правда, он-то сам не сторонник розги; сам объявляет, но ведь -

"В нормальном порядке вещей употребляются нормальные меры. В настоящем случае была употреблена мера, несомненно, ненормальная. Но если вы вникнете в обстоятельства, вызвавшие эту меру, если вы примете в соображение натуру дитяти, темперамент отца, те цели, которые им руководили при наказании, то вы многое в этом случае поймете, а раз вы поймете - вы оправдаете, потому что глубокое понимание дела непременно ведет к тому, что тогда многое объяснится и покажется естественным, не требующим уголовного противодействия. Такова моя задача - объяснить случай".

То есть, видите ли: "наказание", а не "истязание", сам говорит, значит всего только родного отца судят за то, что ребенка побольнее посек. Эх ведь время-то пришло! Но ведь если глубже вникнуть... вот то-то вот и есть, что поглубже не умели вникнуть ни судебная палата, ни прокурор. А раз мы, присяжные заседатели, вникнем, так и оправдаем.

Г-н Спасович открывает нам, между прочим, что клиент его есть человек, жаждущий семейной жизни. Он было и хотел раз жениться, но брак расстроился, и притом одним из сильнейших препятствий оказалось именно то, что он не скрыл, что у него есть "натуральная дочь". Это только первая капелька, г-н Спасович не прибавляет ничего, но вам понятно, что г-н Кронеберг уже отчасти пострадал за свое доброе дело, за то, что признал дочь свою, которую мог не признать и забросить у крестьян навсегда. Далее, г-н Спасович начинает вдруг говорить о девице Жезинг. В Париже, видите ли, г-н Кронеберг познакомился с девицею Жезинг и в 1874 году привез ее с собою в Петербург.

"Вы могли оценить (вдруг возвещает нам г-н Спасович), насколько г-жа Жезинг походит или не походит на женщин полусвета, с которыми завязываются только летучие связи. Конечно, она не жена Кронеберга, но их отношения не исключают ни любви, ни уважения".

Ну, это дело субъективное, ихнее, а нам бы и всё равно. Но г-ну Спасовичу надо непременно выхлопотать уважение.

"Вы видели, бессердечна ли эта женщина к ребенку и любит ее или нет ребенок? Она желала бы сделать ребенку всякое добро..."

Всё дело в том, что ребенок звал эту даму татап и в ее же сундуке взял чернослив, за который его так высекли. Так вот, чтобы не подумали, что Жезинг враг ребенку, что напрасно на него наговаривала и тем возбуждала против него Кронеберга. Что же, мы и не думаем; нам даже кажется, что этой даме не с чего ненавидеть ребенка: ребенок приучен целовать у ней ручку и называть ее татап.

"Однажды вечером (как говорится в обвинении), в июле, Кронеберг опять стал сечь девочку и на этот раз сек так долго, и она так страшно кричала, что Бибина испугалась, опасаясь, что девочку засекут, а потому, вскочив с постели, как была в рубашке, подбежала к окну Кронеберга и закричала, чтоб ребенка перестали сечь, а не то она пошлет за полицией; тогда сечение и крики прекратились..."

Я сказал уже, что г-н Спасович отрицает всякое мучение, всякое истязание, причиненное девочке, и даже смеется над этим предположением. Перейдя к "катастрофе 25-го июля", он прямо начинает считать рубцы, синяки, всякий шрамик, всякий струпик, кусочки отвалившейся кожицы, всё это кладет потом на весы: "столько-то золотников, не было истязания!" - вот его взгляд и прием. Г-ну Спасовичу уже заметили в печати, что эти счета рубчиков и шрамов не идут к делу и даже смешны. Но, по-моему, на публику и присяжных вся эта бухгалтерия должна была непременно подействовать внушительно: "Экая, дескать, точность, экая добросовестность!"

Спасович : "Они говорят, что это наказание выходит из ряда обыкновенных. Это определение было бы прекрасно, если б мы определили, что такое обыкновенное наказание; но коль скоро этого определения нет, то всякий затруднится сказать, выходило ли оно из ряда обыкновенных (это после-то показания отца, что сек долго, бессознательно и вне себя!!). Допустим, что это так; что ж это значит? Что наказание это, в большинстве случаев, есть наказание, неприменимое к детям. Но и с детьми могут быть чрезвычайные случаи. Разве вы не допускаете, что власть отеческая может быть, в исключительных случаях, в таком положении, что отец должен употребить более строгую меру, чем обыкновенно, которая не похожа на те обыкновенные меры, которые употребляются ежедневно".

Но вот и всё, что соглашается уступить г-н Спасович. Всё это истязание он, стало быть, сводит лишь "на более строгую меру, чем обыкновенно", - но раскаивается даже и в этой уступке: в конце своей защитительной речи он берет всё это назад и говорит: "Отец судится; за что же? За злоупотребление властью; спрашивается, где же предел этой власти? Кто определит, сколько может ударов и в каких случаях нанести отец, не повреждая при этом наказании организма дитяти?"

Но столпы, настоящие геркулесовы столпы, вполне начинаются там, где г-н Спасович договаривается до "справедливого гнева отца".

"Когда обнаружилась в девочке эта дурная привычка, - говорит г-н Спасович (то есть привычка лгать), - присоединившаяся ко всем другим недостаткам девочки, когда отец узнал, что она ворует, то действительно пришел в большой гнев. Я думаю, что каждый из вас пришел бы в такой же гнев, и я думаю, что проследовать отца за то, что он наказал больно, но поделом, свое дитя, - это плохая услуга семье, плохая услуга государству, потому что государство только тогда и крепко, когда оно держится на крепкой семье... Если отец вознегодовал, он был совершенно в своем праве..."

Постойте, г-н защитник, я пока не останавливаю вас на слове "ворует", употребленном вами, но поговоримте немного про эту "справедливость гнева отца". В таких летах чем же она сама-то могла быть виновною в своих дурных

привычках и, в таком случае, где тут справедливость гнева отца? Я поддерживаю полную безответственность девочки в этом деле, если даже и допустить, что у ней были дурные привычки, и что бы вы ни говорили, вы не можете оспорить этой безответственности семилетнего ребенка. У ней нет еще и не может быть столько ума, чтоб заметить в себе худое. Ведь вот мы все, а может быть, и вы тоже, г-н Спасович, - ведь не святые же мы несмотря на то, что у нас ума больше, чем у семилетнего ребенка. Как же вы налагаете на такую крошку такое бремя ответственности, которое, может, и сами-то снести не в силах. Вы же утверждаете, напротив, что битье по лицу, в кровь, от отца - и справедливо и не обидно.

Вы сознаетесь, впрочем, г-н защитник, что ваш клиент сделал две логические ошибки (только логические?) и что одна из них, между прочим, в том, что он -

"...поступил слишком рьяно, он предполагал, что можно одним разом, одним ударом искоренить всё зло, которое посеяно годами в душу ребенка и годами возвращено. Но этого сделать нельзя, надо действовать медленно, иметь терпение".

Клянусь, немного бы его потребовалось, этого терпенья, потому что эта крошка - всего семилетняя! Опять-таки эти семь лет, которые исчезают везде в вашей речи и в ваших соображениях, г-н защитник! "Она воровала, - восклицаете вы, - она крала!"

Подождите, подождите, обвинители! И неужели не нашлось никого, чтоб почувствовать всю невозможность, всю чудовищность этой картины! Крошечную девочку выводят перед людей, и серьезные, гуманные люди - позорят ребенка и говорят вслух о его "затаенных пороках"!

В заключение г-н Спасович говорит одно меткое слово:

"В заключение я позволю себе сказать, что, по моему мнению, всё обвинение Кронеберга поставлено совершенно неправильно, т. е. так, что вопросов, которые вам будут предложены, совсем решать нельзя".

Вот это умно; в этом вся суть дела, и от этого вся фальшь дела; но г-н Спасович прибавляет и еще несколько довольно торжественных слов на тему: "Я полагаю: вы все признаете, что есть семья, есть власть отеческая..." Выше он восклицал, что "государство только тогда и крепко, когда оно держится на крепкой семье".

На это и я позволю себе включить одно лишь маленькое словечко, и то лишь мимоходом.

Мы, русские - народ молодой; мы только что начинаем жить, хотя и прожили уже тысячу лет; но большому кораблю большое и плавание. Мы любим наши святыни, но потому лишь, что они в самом деле святы. Святыни наши не из полезности их стоят, а по вере нашей. Мы любим святыню семьи, когда она в самом деле свята, а не потому только, что на ней крепко стоит государство. А веря в крепость нашей семьи, мы не побоимся, если, временами, будут исторгаемы плевелы, и не испугаемся, если будет изблещено и преследуемо даже злоупотребление родительской власти. Но во всяком деле есть предел и мера, и это мы тоже готовы понять. Я не юрист, но в деле Кронеберга я не могу не признать какой-то глубокой фальши. Тут что-то не так,

тут что-то было не то, несмотря на действительную виновность. Г-н Спасович глубоко прав в том месте, где он говорит о постановке вопроса; но, однако, это ничего не разрешает. Может быть, необходим глубокий и самостоятельный пересмотр законов наших в этом пункте, чтоб восполнить пробелы и стать в меру с характером нашего общества. Я не могу решить, что тут нужно, я не юрист...

Но я все-таки восклицаю невольно: да, блестящее установление адвокатура, но почему-то и грустное. Это я сказал вначале и повторяю опять. Так мне кажется, и наверно от того только, что я не юрист; в том вся беда моя. Мне всё представляется какая-то юная школа изворотливости ума и засушения сердца, школа извращения всякого здорового чувства по мере надобности, школа всевозможных посягновений, бесстрашных и безнаказанных, постоянная и неустанная, по мере спроса и требования, и возведенная в какой-то принцип, а с нашей непривычки и в какую-то доблесть, которой все аплодируют. Что ж, неужто я посягаю на адвокатуру, на новый суд? Сохрани меня боже, я всего только хотел бы, чтоб все мы стали немного лучше. Желание самое скромное, но, увы, и самое идеальное. Я неисправимый идеалист; я ишу святынь, я люблю их, мое сердце их жаждет, потому что я так создан, что не могу жить без святынь, но всё же я хотел бы святынь хоть капельку посвятее; не то стоит ли им поклоняться?

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ (МАЙ 1876) ДЕЛО КАИРОВОЙ

Меня спрашивают: буду ль я писать про дело Каировой? Я получил уже несколько писем с этим вопросом. Одно письмо особенно характерно и писано, очевидно, не для печати; но позволю себе привести из него несколько строк, с соблюдением, конечно, полнейшего анонима. Надеюсь, что многоуважаемый корреспондент на меня не посетует; я и цитирую из него лишь убежденный в его совершенной искренности, которую в полной степени могу оценить.

«...С чувством глубочайшего омерзения прочли мы дело Каировой. Это дело, как фокус объектива, выразило собою картину утробных инстинктов, для которой главное действующее лицо (Каирова) формировалось путем культурной подготовки: мать во время беременности вдалась в пьянство, отец был пьяница, родной брат от пьянства потерял рассудок и застрелился, двоюродный брат зарезал свою жену, мать отца была сумасшедшая, – и вот из этой-то культуры вышла личность деспотическая и необузданная в своих утробных пожеланиях. Обвинительная даже власть стала в недоумении перед нею и задала себе вопрос: не сумасшедшая ли она? Эксперты частью положительно это отрицали, а частью допустили возможность сумасшествия, но не лично в ней, а в ее поступках. Но сквозь весь этот процесс проглядывает не сумасшедшая, а женщина, дошедшая до крайних пределов отрицания всего святого: для нее не существует ни семьи,

ни прав другой женщины – не только на мужа, но и на самую жизнь – всё для одной только нее и ее утробных похотей.

Ее оправдали, может быть, как сумасшедшую, это еще слава Богу! По крайней мере, нравственная распущенность отнесена не к прогрессу ума, а к разряду психических болезней.

Но в „нижнем помещении публики, занятом исключительно дамами, слышались аплодисменты“ («Биржевые ведомости»).

Чему аплодисменты? Оправданию сумасшедшей или торжеству расходившейся страстной натуры, цинизму, проявившемуся в лице женщины?

Рукоплещут дамы! Рукоплещут жены, матери! Да им не рукоплескать, им плакать надобно при таком поругании идеала женщины...

(NB. Здесь опускаю несколько слишком уже резких строк). Неужели вы обойдете это молчанием?»

Г-н присяжный поверенный Утин*, мне кажется, мог бы наверно предчувствовать оправдание, а потому и ограничиться лишь простым изложением факта, а не пускаться в похвалы преступлению, потому что ведь он почти похвалил преступление... То-то и есть, что у нас ни в чем нет мерки. На западе Дарвинова теория – гениальная гипотеза, а у нас давно уже аксиома. На западе мысль, что преступление весьма часто есть лишь болезнь, – имеет глубокий смысл, потому что сильно различается, у нас же эта мысль не имеет никакого смысла, потому что совсем не различается – и всё, всякая пакость, сделанная даже червонным валетом, и та чуть ли не признается болезнью и – увы! – даже видят в этом нечто либеральное!* Разумеется, я не про серьезных людей говорю (хотя много ли у нас серьезных-то людей в этом смысле?). Я говорю про улицу,* про бездарную средину, с одной стороны, и про плутов, торгующих либерализмом, – с другой, и которым решительно всё равно, только чтобы было или казалось либерально. Что же до присяжного поверенного Утина, то он «похвалил преступление», вероятно воображая, что, как присяжный поверенный, он и не мог иначе поступить, – и вот так-то увлекаются бесспорно умные люди, и в результате выходит совсем даже не умно. Я так думаю, что будь в ином положении присяжные, то есть имей они возможность сказать другой приговор, – то, пожалуй, за такое преувеличение они и вознегодовали бы на г-на Утина, так что он сам повредил бы своей клиентке. Но всё дело состояло именно в том, что они буквально не могли вынести иного приговора. В печати их за этот приговор одни похвалили, другие, слышно, хулят; я думаю, тут нет места ни похвале, ни хуле: просто сказали такой приговор по решительной невозможности сказать что-нибудь иное. Рассудите сами, вот что читаем в газетном отчете:

«На поставленный судом, согласно требованиям обвинения, вопрос о том: „нанесла ли Каирова, заранее обдумав свое деяние, Александре Великановой, с целью лишить ее жизни, несколько ран бритвой по шее, голове и груди, но от дальнейшего приведения в исполнение своего

намерения убить Великанову была остановлена самой Великановой и ее мужем“, – присяжные ответили отрицательно».

Остановимся здесь. Это ответ на первый вопрос. Ну, можно ли отвечать на вопрос, *так* поставленный? Кто, чья совесть возьмется ответить на такой вопрос утвердительно? (Правда, тут и отрицательно-то равно невозможно ответить, но мы говорим лишь об утвердительном решении присяжных). Тут, на вопрос, так поставленный, ответить утвердительно можно, лишь имея сверхъестественное божеское всеведение. Да и сама Каирова совершенно могла не знать того: «дорежет ли она или нет», а присяжных спрашивали положительно: «дорезала ли бы она или нет если б не остановили ее?» Да она, купив за день бритву, хоть и знала, для чего ее купила, все-таки могла не знать: «станет ли еще она резать-то или нет, а не только дорежет ли или нет?» И вернее всего, что не знала об этом ни слова даже и тогда, когда сидела на ступеньках лестницы, уже с бритвой в руке, а сзади ее, на ее постели, лежали ее любовник с ее соперницей. Никто, никто в мире не мог знать об этом ни одного слова. Да мало того, хоть и покажется абсурдом, но я утверждаю, что и когда уже резала, то могла *еще не знать*: хочет ли она ее зарезать или нет, и *с этой ли целью* ее режет? Заметьте, этим я вовсе не говорю, что она была в бессознательном состоянии; я даже ни малейшего помешательства не допускаю. Напротив, наверно, в ту минуту, когда резала, *знала, что режет*, но хочет ли, сознательно *поставив себе это целью*, лишить свою соперницу жизни – этого она могла в высшей степени не знать, и, ради Бога, не считайте этого абсурдом: она могла резать, в гневе и ненависти, не думая вовсе о последствиях. Судя по характеру этой беспорядочной и измученной женщины, – это именно так, вероятно, и было. А заметьте, что от ответа присяжных, например, утвердительного: что дорезала бы, и, главное, резала с непременною целью зарезать, зависела бы вся участь несчастной. Тут гибель, тут каторга. Как же брать на себя присяжным такую обузу на свою совесть? Они и ответили отрицательно, потому что не могли варьировать свой ответ иначе. Вы скажете, что преступление Каировой было не выдуманное, не головное, не книжное, а тут просто было «бабье дело», – несложное, весьма простое, и что на ее постели вдобавок лежала ее соперница. Так ли, простое ли? А что если она, полоснув раз бритвой по горлу Великановой, закричала бы, задрожала бы и бросилась бы вон бежать? Почему вы знаете, что этого не случилось бы? А случилось бы, так очень может быть, что и до суда ничего не дошло бы. А теперь вас приперли к стене и допытываются у вас положительно: «дорезала бы она или нет», и, уж, разумеется, с тем, чтоб услать ее или нет – сообразно с вашим ответом. И уж малейшая варьация в вашем ответе соответствует целым годам заключения или каторги! ... Итак, как же было ответить после того на такой мудреный вопрос суда? Ведь тут не домашний разговор за чайным столом, ведь тут решение судьбы. Так можно ставить вопросы, сильно рискуя не получить на них никакого ответа.

Равно и на второй вопрос, поставленный присяжным судом: «нанесла ли она эти раны, и *с той же целью*, в запальчивости и раздражении?» –

присяжные опять-таки не могли ответить иначе как отрицательно, то есть «нет, не нанесла», ибо опять тут фраза «с тою же целью» означала «с обдуманном заранее намерением лишить Великанову жизни». И особенно трудно стало ответить на это ввиду того, что «запальчивость и раздражение» в чрезвычайном большинстве случаев исключают «обдуманное заранее намерение»; так что в этом втором вопросе суда заключался как бы даже некоторый и абсурд.

Зато в *третьем* вопросе суда: «действовала ли Каирова в точно доказанном припадке умоисступления?» – заключался уже довольно твердый абсурд, ибо при существовании первых двух вопросов эти два вопроса и третий положительно исключают один другой; в случае же отрицательного ответа присяжных на первые два вопроса или даже просто в случае оставления их без ответа оставалось непонятным: об чем спрашивают и что даже значит слово «действовала», то есть об каком именно поступке спрашивают и как его определяют? Присяжные же никак не могли варьировать свой ответ, за неременной обязанностью ответить лишь *да* или *нет*, без варьаций.

Наконец, и *четвертый* вопрос суда: «если действовала не под влиянием умоисступления, то виновна ли в означенном в первом или во втором вопросе преступлении?» – присяжные тоже оставили без ответа, конечно ввиду того, что он был лишь повторением первых двух вопросов.

Таким образом суд и *отпустил* Каирову. В ответе присяжных: «нет, не нанесла», конечно, заключался абсурд, ибо отвергался самый факт нанесения ран, – факт никем не оспариваемый и для всех очевидный, но им трудно было сказать что-нибудь иное при такой постановке вопросов. Но, по крайней мере, нельзя сказать, что суд, отпуская Каирову или даже, так сказать, милуя ее, *оправдал* подсудимую, а г-н Утин именно оправдывал поступок преступницы, почти находил его правильным, хорошим. Конечно, это невероятно, а между тем так вышло.

... Речь г-на Утина я разбирать не стану; притом она даже и не талантлива. Ужасно много высокого слога, разных «чувств» и той условно-либеральной гуманности, к которой прибегает теперь чуть не всякий, в «речах» и в литературе Повторяю, это определение новейшего деятеля я положительно не отношу к г-ну Утину: он талантлив, и чувство у него, вероятнее всего, натуральное. Но трескучих фраз он все-таки напустил не в меру много в свою речь, что и заставляет подозревать – не то чтобы недостаток вкуса, а именно некоторое небрежное и, может быть, даже и не совсем гуманное отношение к делу в настоящем случае. Надобно сознаться, что наши адвокаты, чем талантливее они, тем больше заняты, а стало быть, у них нет и времени. Было бы и у г-на Утина больше времени, то и он бы, по мнению моему, отнесся к делу сердечнее, а отнесся бы сердечнее, то оказался бы и обдуманнее, не запел бы дифирамба в сущности крайней пошлой интриге, не напустил бы высокого слога про «встрепенувшихся львиц, у которых отнимают детенышей», не напал бы с такою простодушною яростью на жертву преступления, г-жу Великанову, не попрекнул бы ее тем, что ее не

дорезали (почти ведь так!), и не изрек бы, наконец, своего неожиданнейшего каламбура на Христовы слова о грешнице из Евангелия.

Г-н Утин из себя, например, выходит, чтоб представить свою клиентку как можно больше в идеальном, романтическом и фантастическом виде, а это было вовсе не нужно: без прикрас г-жа Каирова даже понятнее; но г-н защитник бил, конечно, на дурной вкус присяжных. Всё-то в ней идеально, всякий-то шаг ее необыкновенен, великодушен, грациозен, а любовь ее это – это что-то кипящее, это поэма! Каирова, например, не быв никогда на сцене, вдруг подписывает контракт в актрисы и уезжает на край России, в Оренбург. Г-н Утин не утверждает и не настаивает на том, что в этом поступке ее «сказалось обычное ее благодушие и самопожертвование», но «тут есть, – продолжал г-н Утин, – какая-то идеальность, известного рода сумасбродство и главным образом самоотречение. Ей нужно было искать место, чтобы помогать матери, и вот она принимает место, которое ей вовсе несвойственно, бросает Петербург и отправляется одна в Оренбург» и т. д. и т. д. Ну, и что же такое, казалось бы, ничего особенного и поражающего тут не произошло вовсе; мало ли кто куда отправляется, мало ли девушек бедных, прекрасных, несчастных, талантливых соглашаются на отъезд и принимают кондиции далеко похуже той, которая досталась г-же Каировой. Но у г-на защитника, как видите, выходит какая-то жертва самоотречения, а из контракта в актрисы почти подвиг. Ну, и дальше все в таком же роде. Каирова очень скоро «сходится» с Великановым, антрепренером труппы. Дела его были плохи: «она хлопчет за него, выпрашивает субсидию, выхлопывает освобождение». Ну, что ж такое, опять ничего бы особенного, да и многие женщины, особенно с живым подвижным характером, как у Каировой, начали бы в таком случае «хлопотать» ради милого человека, если уж завели с ним интрижку. Начались сцены с женой Великанова, и, описав одну из таких сцен, г-н Утин замечает, что с этой минуты его клиентка считала Великанова «своим», видела в нем свое создание, свое «милое дитя». Кстати, это «милое дитя», говорят, высокого роста, плотного, гренадерского сложения, с вьющимися волосиками на затылке. Г-н Утин в своей речи утверждает, что она смотрела на него, как на «свое дитя», как на свое «творение», хотела его «возвысить, облагородить». Одним словом, у г-на Утина везде выходит какой-то слишком уж не подходящий к этим лицам и к этой обстановке высокий настрой, так что подчас становится удивительно. Начинаются похождения; «милое дитя» и Каирова приезжают в Петербург, потом он едет в Москву искать места. Каирова пишет ему задушевные письма, она полна страсти, чувств, а он решительно не умеет писать письма и с этой точки ужасно «неблагороден». «В этих письмах, – замечает г-н Утин, – начинает проглядывать то облачко, которое потом затянуло всё небо и произвело грозу». Но г-н Утин и не умеет объясняться проще, у него всё везде таким слогом. Наконец, Великанов опять возвращается, и они опять живут в Петербурге, – и вот вдруг важнейший эпизод романа – приезжает жена Великанова, и Каирова «встрепенулась, как львица, у которой отнимают детеныша». Тут действительно начинается много красноречия.

Если б не было этого красноречия, то, конечно, было бы жальче эту бедную, сумасбродную женщину, мечущуюся между мужем и женой и не знающую, что предпринять. Великанов оказывается «вероломным», попросту слабым человеком. Он – то жену обманывает, уверяя ее в любви, то едет с дачи в Петербург к Каировой и успокоивает ее тем, что жена скоро уедет за границу

. «Отдать его без борьбы, да это была бы не женщина...», – вдруг замечает г-н Утин. «Страсть обуревала ее, – растолковывает суду г-н Утин, – ревность уничтожила, поглотила ее ум и заставила играть страшную игру». И потом: «ревность искрошила ее рассудок, от него ничего не осталось. Как же могла она управлять собою». Так продолжалось десять дней. «Она томилась; ее бросало в жар и лихорадку, она не ела, не спала, бежала то в Петербург, то в Ораниенбаум, и когда она таким образом была измучена, наступил злополучный понедельник 7-го июля». В этот злополучный понедельник измученная женщина приезжает к себе на дачу, и ей говорят, что жена Великанова тут; она подходит к спальне и...

«Разве, г-да присяжные заседатели, возможно, чтобы женщина осталась спокойною? Для этого нужно быть камнем; нужно, чтоб у ней не было сердца.

... Я не развратную беспутность природы здесь разумею: женщина эта несчастна, и не стану я ее оскорблять, тем более, что и судить-то в этом пункте совсем не возьмусь. Я разумею лишь беспутность ее ума и сердца, которая для меня бесспорна. Ну, вот по этой-то беспутности и не могла она в эту роковую минуту решить дело иначе, как она его решила, а не потому, что, решая иначе, «нужно быть камнем».

И уж если провозглашать гуманность, то можно бы пожалеть и г-жу Великанову. Кто уж слишком жалеет обидчика, тот, пожалуй, не жалеет обиженного. А между тем г-н Утин отнимает у г-жи Великановой даже ее качество «жертвы преступления». Мне кажется, я решительно не ошибусь заключением, что г-ну Утину, в продолжение всей его речи, поминутно хотелось сказать что-нибудь дурное про г-жу Великанову. ... Вообще, мне кажется, к этой бедной женщине были все несправедливы, и мне сдается, что застань Великанова Каирову в спальне с своим мужем и прирежь ее бритвой, то кроме грязи и каторги она ничего бы не добилась в своем ужасном качестве законной жены. Ну, возможно ли, например, сказать, как вы сказали, г-н защитник, что в этом «деле» Великанова не потерпела, потому что через несколько дней после происшествия явилась уже на подмостках театра и играла потом всю зиму, тогда как Каирова просидела десять месяцев в заключении. О бедной клиентке вашей мы все жалеем не меньше вас, но согласитесь, что и г-жа Великанова потерпела немало. Не говоря уже о том, сколько она потерпела как жена и как уважающая себе женщина (последнего я решительно не вправе отнять от нее), – вспомните, г-н защитник, вы, такой тонкий юрист и так гуманно заявивший себя в своей речи человек, – вспомните, сколько она должна была вынести в ту ужасную ночь? Она вынесла несколько минут (слишком много минут) *смертного страха*. Знаете ли, что такое *смертный страх*? Кто не был близко у смерти, тому трудно

понять это. Она проснулась ночью, разбуженная бритвой своей убийцы, полоснувшей ее по горлу, увидела яростное лицо над собою; она отбивалась, а та продолжала ее полосовать; она, уж конечно, была убеждена в эти первые, дикие, невозможные минуты, что уже зарезана и смерть неминуема, – да ведь это невыносимо, это горячешный кошмар, только наяву и, стало быть, во сто раз мучительнее; это почти всё равно, что смертный приговор привязанному у столба к расстрелянию и когда на привязанного уже надвинут мешок...* Помилуйте, г-н защитник, и этакое истязание вы считаете пустяками! и неужели никто из присяжных даже не улыбнулся, это слушая. Ну, и что же такое, что Великанова через две недели уже играла на сцене: уменьшает ли это тот ужас, который она две недели перед тем вынесла, и вину вашей клиентки? Вон мачеха недавно выбросила из четвертого этажа свою шестилетнюю падчерицу, а ребенок стал на ножки совсем невредимый: ну, неужели это сколько-нибудь изменяет жестокость преступления, и неужели эта девочка так-таки ровно ничего не претерпела? Кстати, я уже воображаю себе невольно, как эту мачеху будут защищать адвокаты: и безвыходность-то положения, и молодая жена у вдовца, выданная за него насильно или вышедшая ошибкой. Тут пойдут картины бедного быта бедных людей, вечная работа. Она, простодушная, невинная, выходя, думала как неопытная девочка (при нашем-то воспитании особенно!), что замужем одни только радости, а вместо радостей – стирка запачканного белья, стряпня, обмывание ребенка, – «г-да присяжные, она естественно должна была возненавидеть этого ребенка – (кто знает, ведь может найдется и такой «защитник», что начнет чернить ребенка и приищет в шестилетней девочке какие-нибудь скверные, ненавистные качества!), – в отчаянную минуту, в аффекте безумия, почти не помня себя, она схватывает эту девочку и... Г-да присяжные, кто бы из вас не сделал того же самого? Кто бы из вас не вышвырнул из окна ребенка?»

Мои слова, конечно, карикатура, но если взяться *сочинить* эту речь, то, действительно, можно сказать что-нибудь довольно похожее и именно в этом самом роде, то есть именно в роде этой карикатуры. Вот это-то и возмутительно, что именно в роде этой карикатуры, тогда как действительно поступок этого изверга-мачехи слишком уж странен и, может быть, в самом деле должен потребовать тонкого и глубокого разбора, который мог бы даже послужить к облегчению преступницы. И потому подосадуешь иногда на простодушие и шаблонство приемов, входящих, по разным причинам, в употребление у наших талантливейших адвокатов. С другой стороны, думаешь так: ведь трибуны наших новых судов – это решительно нравственная школа для нашего общества и народа. Ведь народ учится в этой школе правде и нравственности; как же нам относиться хладнокровно к тому, что раздастся подчас с этих трибун? Впрочем, с них раздаются иногда самые невинные и веселые шутки. Г-н защитник в конце своей речи применил к своей клиентке цитату из Евангелия: «она много любила, ей многое простится». Это, конечно, очень мило. Тем более, что г-н защитник отлично хорошо знает, что Христос вовсе не *за такую любовь* простил «грешницу».

Считаю кощунством приводить теперь это великое и трогательное место Евангелия. ... Повторяю, г-н Уткин, уж конечно, отлично знает, как надо толковать этот текст, и для меня сомнения нет, что он просто пошутил в заключение речи, но для чего – не знаю.